

Сергей Коростелев

ЭТАЖИ

12+

Сергей Коростелев

Этажи

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Коростелев С.

Этажи / С. Коростелев — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Когда-то его четырнадцатизэтажка была самым высотным зданием в городе... Он взял отпуск и пожаловал в отчий дом на 2 недели. Ему нужно закончить работу над текстом. Дневниковые записи рассказчика фиксируют состояние почти 30-летнего молодого человека – нервного, рефлексирующего интроверта. Дома всё пропитано детством, и в мозг вторгаются воспоминания, застарелые страхи, сны... Утраченный рай, молодые мама и папа, дворовые игры и метания по всем этажам собственного сознания. Его дом – башня. Последний форпост – над пропастью Каменного Лога. 14-й этаж – так высоко, что всегда есть опасность сорваться.

© Коростелев С., 2019

© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

ЛЮДИ НА КРЫШЕ	6
ЭТАЖ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ	7
ЭТАЖ ТРИНАДЦАТЫЙ	18
Конец ознакомительного фрагмента.	26

И нет конца и нет начала
Тебе, тоскующее я?

Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. И во время игр мы горячо привязались друг к другу.

Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли.

ЛЮДИ НА КРЫШЕ

Кто эти люди на крыше?

Я вижу вдалеке маленьких черных человечков – настолько узеньких, схематичных, пунктирных, что мне кажется, что тела их – это черточки, намалеванные в школьной тетради.

Они расхаживают по крыше многоэтажного здания: всплескиваясь, размахивают иногда руками, и переговариваются о чем-то, и, очевидно, заглядывают вниз. Побывать там – словно попасть на вершину мира. Вселенная как на ладони, и можно наконец постичь сущность вещей.

Эй, вы, люди на крыше? Скажите мне, кто вы. Откройте секрет! Я так мечтаю оказаться на вашем месте!

...Но что это? Что происходит?! Неужели они собираются спрыгнуть?

ЭТАЖ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

19 августа, понедельник

Я стою около дома и, по-детски задрвав голову, смотрю вверх – вижу свисающий с крыши металлический брус, окаменевший, почерневший под гнетом столетий хвост дракона. Его логово, где ящер был застигнут врасплох вечностью, – четырнадцатизэтажка. Благодушно расправившая свои складки-отсеки, она чем-то похожа на раскрытую книгу, страницы которой разбежались веером.

Я долго нахожусь в таком положении – ладно бы только странном, нелепом, да еще неудобном: затекает шея. Но я терплю, любясь тщедушными облачками, беспомощно вибрирующими в синеве, как жучки, опрокинутые кверху брюшком. В разные стороны, порой едва различимыми линиями, тянутся провода – все соседние здания связаны их круговой порукой.

Какая-то маленькая тень промелькнула подле меня, просочилась в подъезд, но это – словно мимолетный ветерок, не смеющий меня отвлекать. Ничего лишнего мне сейчас не надо – я ведь так давно не был дома.

В подъезде – двое: грузные, размазанные, смешавшиеся с полутенью. Так, не чая исхода, мимикрируют, принаравливаясь к тусклому, безнадежному ландшафту. Один – нахлобученная на самый лоб фуражка, серая, истертая, сливающаяся с таким же постным, вымороченным лицом. Другой, ближе ко мне, – барсетка, застрявшая, несчастная, между подмышкой и уродливо всклокоченным пивным пузцом, похожим на старую прохудившуюся подушку. Ее взбивали, лохматили, пытаюсь вернуть ей очертания жизни, – но тщетно.

Притворно откашлявшись, я выдавил нечто, напоминавшее приветствие. Под стать поздоровались и со мною – глухим молчанием, почти таким же бессодержательным, как сама пустота.

Наконец коридор озарился светом – примчался маленький лифт, расшаркивавшийся льстиво и лживо, как последний пройдоха-лакей: «Чего изволите?». Мы охотно воспользовались его услугами и протопали внутрь. Через мгновение створки пришли в движение, но раньше, чем они сомкнулись, к нашей унылой компании присоединился мальчик. Так запрыгивают отчаянные на подножку уходящего поезда – тем более в загадочное устройство, способное унести тебя в космос; или низвергнуть в бездну.

Пришлось потесниться.

Его руки и ноги болтались, будто были плохо приделаны к телу; в тот момент мальчику это помогло. Будь он скроен, как следует, разве удалось бы ему успеть, протиснуться! Показалось, что он забрался в лифт по частям. Мужики были увесистые, у меня – раздутый от занудства рюкзак, но о перевесе не могло быть и речи: жадный до малейшей подачки лифт-лакей с наслаждением принял еще одного пассажира – хоть и худенького, авось съедобного.

Поехали. С этажами мы уже определились, но мальчик, нажав «четыре», ставки наши перебил.

Его проворство сменилось робостью, заметной тем больше, чем старательнее сдерживал он трепетавшее, готовое вырваться наружу всклокоченное дыхание. Немного скрюченный, нескладный, несуразный, мальчик весь сжался, нетерпеливо ожидая своей остановки, впрочем, весьма скорой. Я догадывался, какие чувства его обуревают; я сам не люблю эти маленькие лифты за постыдную тесноту, необходимость мириться с нескромной близостью чужих людей, стоящих подчас лицом к лицу и толком не знающих, куда лучше отвести взгляд в этом обременительном замкнутом пространстве. Все мы, казалось бы, привыкли к толкотне в общественном транспорте, где личные границы нарушаются самым бесцеремонным образом; но только

в лифтах, – может быть, в силу интимной близости к квартире, где у каждого домашний очаг, семья, постель, – необходимость контактировать с людьми становится особенно тягостной.

Горящие, растопыренные, вернее, какой-то неправильной формы уши запомнились мне в мальчишке больше всего, хотя, когда он выходил и юркнул из лифта налево, я сделал всё возможное, чтобы память моя прихватила с собой как можно больше подробностей.

Что у него за жизнь? Какие у него сейчас радости и печали? Насколько дружная и благополучная у него семья? Всё мне было невдомек. Не сомневался я только в его внутреннем достоинстве, которое я обнаружил как чувство, внезапно меня посетившее и непонятно на чем основанное.

На седьмом высадились фуражка – нам с барсеткой пришлось постараться, чтобы дать ей достойную дорогу; на двенадцатом барсетка оставила меня одного. Как здорово ехать до последнего этажа, как приятно оставаться в гордом одиночестве! Ведь мы, немногие, кто живет на четырнадцатом, – особая каста. Пишу с юмором, хотя в детстве я был в этом вопросе совершенно серьезен, свято веря в некоторую нашу инаковость; но в чем она заключалась, я, ей-богу, не смог бы объяснить. И, как бы храня от грубых посягательств прекрасную тайну, я предпочитал отмалчиваться, когда у меня, ребенка, сюсюкаясь, узнавали, на какой этаж мне ехать; отвечал я, только когда переспрашивали, и произносил максимально сурово и горделиво: «Мне до конца».

* * * * *

Улица ныряет в Каменный Лог – огромный, многокилометровый овраг, разделяющий город на две неравные части. В Логу когда-то текла древняя река – до наших дней осталось лишь пересохшее, как горло умирающего, русло; гальванизируя, река ненадолго обретает нечто, похожее на подлинное существование, при сильных дождях. Величественный Лог становится грозен, ибо страшна его вековая ярость, вспыхивающая под аккомпанемент молний в грозу, когда всё бурлит и льется через край и когда холмы угрожают сомкнуться, точно пасть голодного зверя.

На восточных склонах стыдливо жмутся друг к другу маленькие, сморщившиеся домишки, поросшие щетинкой, как бабушкино лицо. Пожившие свое и, кажется, сами сознающие свою мучительную старость, они трогательно подставляются солнцу, питааясь им одним, и просят только не трогать себя, хотя новая жизнь, стремительно меняющийся окружающий мир давно уже недобро смотрят на них с грубой, надменной высоты новостроек.

На западных склонах частный сектор обрывается; на одном из этих склонов – моя четырнадцатизэтажка.

Она выбивается из общего ряда домов четной стороны: стоит чуть в отдалении, как бы на отшибе, на самой нижней площадке – на ярусе, который я прозвал нулевым. Мой дом, последний по нумерации и по смыслу, – крепость, форпост: дальше безраздельно властвует Каменный Лог, загадочный, своенравный.

Она не похожа на остальные дома: в детстве я с гордостью считал четырнадцатизэтажку самым высотным жилым зданием в городе. Может, это и правда. Может, это и было правдой. Существенно то, что я никогда не проверял. И даже не пытался проверить, разузнать. Мне было достаточно того, что я так решил.

Она уникальна, ни на что не похожа и навеки любима, ибо она – родная. Конечно, из роддома мы с мамой отправились в другое место, ведь жили мы тогда в отдаленном районе города, в однокомнатной. Но, в сущности, это не принципиально: тот дом значит для меня мало; та старая однокомнатная, думаю, оставила заметный след в жизни моих родителей, но никак не в моей. Именно здесь, на четырнадцатом этаже, над зияющей пропастью Лога впервые по-настоящему проявилось мое Я, и моя мысль стала потихоньку шерудить в пространстве и времени; именно здесь моя родина – и только здесь. Мой дом – башня.

Еще западнее, между двух девятиэтажек зажата асфальтная площадка, слегка приукрашенная зеленью и слегка изуродованная мусоркой вида довольно неприглядного. Живописный памятник былых времен – переკладина для выбивания ковров. Интересно, сколько лет назад последняя хозяйка, вооружившись специальной ракеткой, выходила сюда спасать свой быт и семейное счастье в борьбе с ненавистной и неиссякаемой пылью? А вообще-то здесь теперь автомобильная стоянка, и в моих глазах она куда как более нежелательна, чем переკладина, ковры, пыль... Машин в моем детстве было всё-таки значительно меньше, и они не мешали так, как досаждают теперь.

С тех пор, как нам дали квартиру, мы счастливо жили здесь втроем – папа, мама, я. Окна с видом на Каменный Лог. С противоположной стороны, там, где подъезд, общие балконы и драконий хвост, – вид на улицу и верхний (первый) ярус. На одном уровне с асфальтной площадкой – свободнее дышащий пригорок, чуть изгибающийся и в конечном счете смыкающийся с Логом. Пригорок не асфальтирован и потому почти полностью зарос травой. По легенде, когда-то там стоял малоэтажный дом, от которого – после сноса – частично сохранился лишь фундамент. Усеянное камнями поле, на котором мы, однако, безо всяких проблем постоянно играли в футбол, устраивали всевозможные футбольные игры, служило главным подтверждением правдивости этой истории.

Аппендикс нашего дома – это вытянутая, как червячок, пристройка: в коммунальных условиях, с одной общей кухней и несколькими туалетами, в ней живет несколько семей – понятное дело, далеко не самых состоятельных.

Кроме того, там до сих пор размещается художественная школа. Зная о моей тяге к творчеству, в частности к рисованию, – в раннем детстве я занимался им куда больше, чем сочинительством, – родители меня в нее записали. Теперь я, конечно, жалею, что я так быстро и бесславно бросил. Мне кажется, меня многому могли там научить; возможно, из меня получился бы гениальный художник-новатор. Но, увы, сильнее всякой тяги к искусству проявились во мне любовь к уединению и острое нежелание лишней раз соприкоснуться с миром. Только подумать, дорога до художки занимала считанные минуты: мне нужно было только спуститься и пройти несколько метров по улице до входа в пристройку! Но, несмотря на это, я быстро заленился. Родителям сложно было оторвать меня от мультиков и чуть что я, как говорил дедушка, начал «пускать нюни». Заставлять меня не стали, а сам я соизволил посетить лишь несколько занятий. Так, мне не понравилось, что на одном из них меня принудили заниматься лепкой – к этому роду деятельности я испытывал категорическое отвращение не до конца понятного происхождения. Для сравнения, акварель – дело ведь тоже довольно муторное, неряшливое, но разведенные в воде краски, измазаться в которых проще простого, меня отчего-то не раздражали. Иное дело – эти склизкие и в то же время липкие от пластилина пальцы. Бррр!.. С этой неременной составляющей процесса лепки мое сильно выраженное внутреннее чистоплюйство мириться не пожелало. Вообще я подумал, что причина может быть еще и в том, что трудовые профессии, где нужно работать руками, однозначно не для меня. Слишком уж я от рождения брезглив.

А еще – невероятно свободолюбив. Поэтому, когда мне дали задание слепить курочку и кота, я почувствовал себя обескураженным. Зачем всё это? (Я, кстати, до сих пор с большой неохотой работаю на заказ.) В результате я схитрил: утопавшая в собственной расплывчатости курочка была ни на что не похожа, а беднягу кота я и вовсе наделил одним лишь хвостом. Не моргнув глазом, я объяснил преподавательнице, что туловище и всё остальное, что только наличествует у кота, сокрыто, мол, под курочкиной юбкой. Надеюсь, в непристойности меня не заподозрили, но принцип реалистичности я, как ни крути, грубо нарушил. Впрочем, эта

милая восторженная женщина, маленькая, худенькая, буквально наэлектризованная страстью к живописи и скульптуре, всё равно жутко расстроилась, когда родители сообщили ей, что ходить я больше не собираюсь. Она уговаривала их, чтобы я продолжил учебу: она, дескать, разглядела во мне диковинный талант. Право, не знаю, как ей это удалось, но ныне мне становится приятно, когда родители в тысячный раз пересказывают мне ее реакцию. Спасибо ей большое! Может, она и не преувеличивала, но моя пассивность не позволила ни подтвердить, ни опровергнуть ее умозаключение. В результате от моего непродолжительного живописного периода у нас остался лишь большой загнутый по краям лист формата А-2 с невообразимо экспрессивной мазней. Глядя на этот «холст», отец с теплотой вспоминает о былом и, смеясь, восхищается полетом моей фантазии.

Ну а после художки я всё больше посвящал себя прозам пера.

* * * * *

Детство! Воспоминаниями о нем просвечены сейчас все мои мысли, как ласкаемый солнцем наш двор, существующий в придуманных мною пределах. Не в такой ли, как сейчас, безмятежный летний полдень – или, вернее, в позднее утро, когда солнце только стремилось к зениту, – я возвращался домой и обратил внимание на тень, отбрасываемую одной из девятиэтажек. И я тут же решил для себя, что тень, несомненно, обозначает границу нашего двора. Огромный мир лежал где-то вовне моего непосредственного восприятия как нечто сугубо теоретическое; в реальности же существовал только мой родной, незыблемый, абсолютно безопасный дом и точно такая же близлежащая территория, не слишком большая, но при этом для меня куда более всеобъемлющая, чем самые удаленные уголки необъятной Вселенной. С одной стороны, ее, Вселенную, я всегда мечтал изучить, с другой – я страшно боюсь этих бездн, и сознание мое нуждается в рубежах, как в ремнях безопасности, как в страховке, предохраняющей от падения. Четырнадцатый этаж – это ведь так высоко; это не шутки.

Много лет я возвращался в родной дом максимум дней на пять – проводил время с родителями. А в этот раз я один и впереди целых две недели. Непривычную пространственную пустоту и временную протяженность заполнили чувства, похожие на те, которые я испытал, когда мы сюда въехали. Трехкомнатная квартира после однокомнатной – о, такое значительное увеличение комфорта и расширение моего личного пространства я воспринял как верх благополучия; должно быть, так живут короли! Конечно, поначалу было много колготы, грязи, бесчисленных уборок, перестановок; повсюду стояли коробки, стулья, громоздилась кухонная утварь. Новый громадный холодильник, еще не передвинутый на положенное место, не заполненный продуктами, вселял в меня, маленького, изрядное почтение своим осанистым видом. Словно невозмутимый белый божок, главенствовал он в девственном, еще не обставленном пространстве кухни – не упорядоченном, хаотичном.

Отца же больше беспокоил другой белый божок – в другой части квартиры. Кажется, до сих пор перед глазами у меня стоит картинка: в туалете (тогда они с ванной были у нас раздельными) зажжен свет, дверь открыта, и отец тщательно и обеспокоенно проверяет, насколько хорошо смывает унитаз. И – добросовестно ли установили его рабочие? Зная, что устройство это имеет первостепенную важность для семейного быта, отец справедливо уделял ему повышенное внимание. А рядом, в длинном коридоре плашмились доски шкафов, в разобранном виде – такие жалкие, искалеченные (хотя и гладкие) куски дерева... Словом, мы усиленно прилаживали себя и весь наш скарб к новой емкости, в которую собирались «залиться».

Родительская, детская (то есть моя), зал... А еще кухня, ванная, туалет, коридор, кладовка, балкон. Сколько комнат! Какое изобилие! Правда, меня поправили, что всё, что в последнем ряду, комнатами не считается, и я тогда уяснил для себя, что комната – это то место, где можно спать.

Балкон тоже подошел бы под это определение, если бы мы сумели его обустроить. На лето туда можно было бы выставлять кресла, чтобы дремать в них знойный полдень. Иногда я балдел там с книжонкой на раскладушке (почти как на лоне природы – в гамаке на даче), но не более того. Ремонта балкон так и не дождался.

Родители, разумеется, ничего не замечали, ну а я, когда чуть подрос, почувствовал сакральность этого места: будучи частью нашего дома, балкон героически вдавался во внешний мир. Вознесенному на четырнадцатипятиэтажную высоту, ему предназначено стать пристанищем жрецов и астрономов, способных ночи напролет вглядываться вверх и вниз, в дали космоса и удобренную густым мраком бездну Лога. Расстояние в обе стороны представлялось мне одинаково огромным, и если бы я сбросил с балкона железную наковальню, она, наверное, летела бы не меньше девяти суток.

Обсерватория! Площадка, достойная великих дум стойких, неколебимых философов и нервных, склонных к самоистязанию поэтов! Во что ее превратили мы со временем? – В склад, где хранилось барахло, лишенное права на «проживание» в основной части квартиры, вроде ведра с раствором цемента или коробок с никому не нужной плиткой, которую, однако, жалко было выбросить и не куда вывезти (за неимением дачи).

Не улавливая никаких импульсов, одуматься родители не желали. Даже после того, как, куря на балконе, отец стал свидетелем какого-то странного атмосферного явления. Помню, он позвал меня и мы вместе наблюдали нечто мимолетное, ускользающее... я, впрочем, прибежал с опозданием и потому успел разглядеть самую малость. Даже не знаю, что. То, что мы видели-не видели, отец не постеснялся охарактеризовать как неопознанный летающий объект – определение из лексикона шарлатанов-уфологов, зато сразу понятно, о чем мы подумали. Если я всегда грешил извилистостью мысли, то отец умел делать емкие выводы. Для него тот вечер отметился увлекательным эпизодом – и только. Нужно было работать, кормить семью – времени размышлять о необъяснимом у него не было. Да и вообще – отец, как говорится, не большой любитель метафизических прений.

Признаюсь, в этом в общем-то неприглядном «вещепотоке» стал косвенно участвовать и я сам. Что поделат, если у меня появлялось всё больше личного – одежды, игрушек и много другого, что имело отношение в основном ко мне или только ко мне. По мере устаревания и снижения значимости этих вещей мама ссылала их на балкон. Кроме того, я ведь обретал себя как писатель. Всё чаще воспаряя в прекрасный и далекий мир идей, на мир вещей я отбрасывал всё более широкую тень в виде множества блокнотиков, тетрадей, гроссбухов, безжалостно испещренных моим неудобоваримым почерком. Все эти листы бумаги несут печать моих бесценных размышлений: отрывки из будущих романов, наброски, изречения, дневниковые записи, стихи – одни вроде бы не лишённые таланта, другие – совершенно беспомощные. Часть этого добра, аккуратно упаковав в полиэтилен, а затем положив в коробки из-под обуви, мама также отправила на балкон. Так же поступила она и с подшивкой футбольных газет, которую я наотрез отказывался выбрасывать и из-за которой я грозился устроить грандиозный скандал, если мама всё же сделает это против моей воли. Так балкон стал не только складом, но еще и – отчасти – архивом.

Осенью и зимой балкон брал на себя функции дополнительного холодильника. Летом отец затаскивал туда мешок картошки и что-то еще из съестных припасов. Когда шли дожди, крыша с завидным постоянством заводила благостную пульсирующую мелодию. Это так приятно: пребывать в сухости и комфорте и наслаждаться переменою погоды за окном. В такие часы во мне рождались трепетные чувства – мечты о творческих свершениях. Восторженный, однажды я поделился с мамой своими планами: мол, книга, которую я тогда с упоением читал (честно: я уже и не помню, что это было), будет стимулировать меня на создание собственных

произведений. Мне казалось, что такой нехитрой подпитки будет вполне достаточно – топливо сделает свое дело, и отлаженный творческий механизм заработает во мне бесперебойно... Сколько лет пролетело! А я так до сих пор и не разразился ни одним стоящим произведением. Грустно, что было столько, смею думать, недурных замыслов, которые остались невоплощенными – по крайней мере, пока. И удивительно, что именно сейчас, когда я пишу эти строки, я, кажется, как никогда близок к цели: повесть, над которой я сейчас работаю, обещает стать тем произведением, за которое мне не будет стыдно.

* * * * *

Вечером

Видел сегодня на небе тончайший и потому, наверное, невероятно острый серп – родилась молодая луна. Неужели это космическое тело, Луна, и вправду существует – как нечто реальное, до чего можно добраться, откуда можно привезти осколок грунта? Говорят, в истории Земли, особенно жизни на ней – Луна сыграла огромную роль. Плотная гравитационная взаимосвязь между двумя нашими планетами, приливы в мировом океане у нас, приливы в лунной коре – во всё это как-то не верится. И, как ни парадоксально, тем более не верится в то, что всего этого не станет: Луна – покидает нас, хотя ближе, чем она, у нас ничего нет.

Тяжело просто лечь и, ни о чем не думая, сразу заснуть, не правда ли? Со мной это случается крайне редко – когда я очень устал; но даже сильная усталость отнюдь не гарантирует того, что я мгновенно отключусь. Хотя знаю, что многие спят так постоянно – уверенно, крепко, безо всяких лишних «размышлизмов».

У меня не получается. Числа, которые я отсчитываю, дыхание, которое я насильно ритмизую, мысленный винегрет, который я гневно размазываю по тарелке болезненного сознания, наконец, отчаяние, с которым я мучительно борюсь, – всё это худший вариант, крайность, когда в бессоннице гудит голова и когда, не в силах отключить мозг, я медленно схожу с ума. Если же меня ничто не тревожит, я с упоением занимаюсь милыми, лишь мне понятными образными построениями, которые не только не мешают, но даже и помогают расслабиться, настраивают на дремотный лад и, словно магические заклинания, приоткрывают врата в вожделенное царство Морфея. Тут, правда, важно соблюсти меру, не переборщить с напряженностью, сложностью и тематикой рассуждений – иные мысли могут ведь и взволновать, и расстроить, причем порой парадоксальным образом, и грань довольно тонка.

Когда я внутренне спокоен, когда раздражающие факторы отсутствуют или настолько невелики, что ими можно пренебречь, когда в организме моем – штиль, я люблю скользить по краешку уже полусонного сознания, изможденного чуждой негой. Даже устраиваю себе презабавное развлечение: осторожно раскручиваю мои разветвленные, хитросплетенные размышления в обратную сторону, словно я детектив. Анализировать движение собственной мысли – занятие увлекательное. Вот думал я сейчас, допустим, об условном понятии А – но как я дошел до него? Очевидно ведь, что мысль эта пришла мне в голову не вдруг; мысль вообще, мне кажется, никогда не берется ниоткуда, никогда не представляет собой изолированный отрезок – это всегда одно из звеньев цепочки. Так как же я добрался до звена А? Я начинаю вспоминать и обнаруживаю, что на А меня навели ассоциативные понятия В и С. Точка? Конечно, нет. К В и С я пришел через D, а задуматься о D мне, в свою очередь, помогло E. Но самое интересное, что начинал я данное размышление вовсе не с E, а с... F! И вот, дойдя как минимум до F, наигравшись, я испытываю ни с чем не сравнимое наслаждение оттого, что мне удалось проследить мысль в развитии, ее порой спонтанные, неожиданные перескоки из одной сферы в совершенно другую, обнаружить все ассоциативные крючочки.

Как это бывает, наверное, у всех детей, однажды у меня возник вопрос, каким образом я появился на свет.

Осенний вечер, на улице темень, на кухне стухший оранжевый свет – коэффициент альбедо пестрых обоев чрезвычайно высок; а пестры они потому, что все разукрашены моими художествами: абстракциями, аппликациями... Здесь и рисунки с безумными сюжетами, и верблюд, небрежно вырезанный из пачки отцовских сигарет, и большеголовый лопоухий слоник – поздравление маме с 8 марта, и чего только нет. Мама хозяйничала, что-то готовила, когда я подошел к ней и с изумительной детской прямоотой, безо всяких преамбул спросил: «Откуда берутся дети?» К чести, мама не растерялась – видимо, этот ответ она подготовила заранее: «Женщины выпивают специальную таблетку – и вот...»

Я был полностью удовлетворен – никаких дополнительных вопросов у меня не возникло. Это блистательное объяснение прекрасно вписывалось в мои увлечения наукой, в почти сложившееся материалистическое восприятие мира. Какая-нибудь нелепость – вроде щедрых подношений аистов или счастливых находок в капусте – меня наверняка не впечатлила бы, и червь сомнения постепенно источил бы меня по ночам. Какие аисты, если я уже всю интересовался жизнью птиц и животных вообще! Какая капуста (тем более что ботаника прельщала меня куда меньше)! Правда, если я тогда уже уяснил, как появляются звереныши, я должен был догадаться, что с людскими детенышами дело обстоит точно так же; но, возможно, человек для меня еще пребывал в ореоле существа особого, высшего порядка.

И хорошо, что мама не предложила мне ничего религиозного. Помню, как разочаровала меня одна из моих энциклопедий – она вообще была какой-то блеклой, отвратительно изданной; я ее не жаловал, а после этого случая невлюбил окончательно. Книга была построена по принципу: вопрос – ответ. «Почему все народы говорят на разных языках?» – этот вопрос показался мне поистине увлекательным. Теперь-то мне всё очевидно: по мере распространения людей по планете их праязык (если он существовал вовсе) естественным образом распался на множество наречий, ведь люди удалялись друг от друга, сталкивались с совершенно разными, специфическими условиями среды обитания, которые и формировали у них различные средства языкового самовыражения, общения, связи. Но разве шести-семилетний мальчик мог размышлять так здраво? Чтобы прийти к этому, в сущности, простейшему выводу, мне требовались подсказки, хоть небольшая, но квалифицированная помощь. А что сделали авторы этой научной, вернее, научно-популярной (но всё же научной!) книги? Взяли да подсунили мне библейскую легенду о Вавилонской башне! Я тогда был человеком придирчиво и, может быть, плоско мыслящим, и религиозные тексты не могли вызвать во мне значительного отклика. Я надеялся, что мне предоставят факты, анализ, логику, что мне разложат всё по полочкам, а вместо этого эти шарлатаны, недобросовестные писаки отделались притчей, мифом (пусть и красивым) – как это лучше назвать?!

Словом, таблетка – это было в точку! Таблетка оказалась весомее любого объяснения, связанного с божественным вмешательством. Так что, видно, уже в детстве уверовал я в чрезвычайную силу фармацевтической промышленности.

Жаль, невозможно подсчитать общее количество выпитых мною за жизнь таблеток, – цифра получилась бы любопытной, – и я ни за что не вспомню всех наименований. Одни таблетки оказывали прямое, целебное воздействие, другие были лишь пустышками (и это был эффект плацебо), третьи моему организму скорее вредили. От каких только болезней – реальных и мнимых – не принимал я их, в каких только жизненных ситуациях не обращался за их помощью! И сколько раз я пытался заставить себя не пить в течение дня ни одной таблетки – чаще всего затея эта не удавалась. В древние времена человек лечился травами, кореньями, какой-нибудь морошкой, но стремительный прогресс науки, медицины давно разложил все эти дары природы на первичные химические составляющие, столь необходимые каждому. Мне кажется, люди будущего тоже не смогут отказаться от таблеток, которые станут максимально

универсальными и могущественными. Да и так ли уж пагубна эта зависимость? Про таблетки иногда презрительно говорят – «химия», но не химический ли процесс лежал у истоков всего живого, начиная с первой молекулы ДНК? Живое возникло из неживого, мы и есть химия, и не так уж, наверное, грешно пополняться необходимыми первоэлементами.

Написал сейчас это – и осекся.

Ведь, признаться, совсем не так рассуждаю я чудовищными ночами, когда, обложившись таблетками, я не могу заснуть. Выпиваю одну, другую, третью – и понимаю, что мне ничего не помогает, и не знаю, что делать; а мечтаю я только о том, чтобы больше не мучиться и погрузиться в сон (или умереть вовсе), и я восклицаю: «Зачем же я таким уродился!»

20 августа, вторник

Доброе утро. Дом. Двухнедельный отпуск, который я решил потратить на творчество и воспоминания. И вот они сплелись воедино – как я и хотел.

Стоило мне вернуться, как застарелые страхи, рожденные в детстве, снова закопошились на дне моей души – и, как прежде, я, кажется, снова слышу подозрительный, возмутительный шорох, доносящийся из углов дальней комнаты, и шум занавесок в выводящей на балкон кухне, и едва уловимый ненавистный стук откуда-то сверху, с крыши.

Во выюжные, бурные, штормовые ночи меня удручали терзания беззащитного кабеля, осужденного, словно Прометей, на страдания во мраке. Он бился и трепетал; его безнадежный бой наглядно давал мне понять, как жесток мир вовне и как важно находиться под защитой крова. Но этот отвратительный стук – совсем другое дело: как будто какой-то безумный человек, фанатик забрался на крышу и проводит там ужасающие эксперименты, возможно, конструируя по ночам монстра, нового франкенштейна... Бред? Но другого объяснения найти я не мог и не могу: расщепляя на атомы звон туго натянутой тишины, я отчетливо различаю, как периодически падают на пол металлические детальки, как кто-то старательно вкручивает болты...

Эта назойливая, мерзкая активность – не выдумал же я ее?! – быстро лишала меня душевного равновесия, весьма хрупкого. Я не мог спать, и нередко приходилось будить родителей. Когда я был маленький, рассудительный, любящий отец, не оплакивая утраченный сон, брел в мою комнату, ложился со мной и пытался услышать то же, что слышу я. Но ему не удавалось. Вслушиваться нужно было долго и терпеливо, отец же быстро начинал сопеть – вот-вот перейдет на храп. Ну тогда, конечно, ничего не услышишь! Я тормозил его, призывал запастись терпением, но нет: в конце концов, он просил меня успокоиться, убеждая, что ничего не слышит, что ничего нет; а если и есть, то мне всё равно не нужно реагировать на такую ерунду – нужно спокойно спать. Легко сказать – и тяжело сделать, горько замечал я. И еще долго дьявольский экзекутор на крыше – воображаемый ли, реальный – препарировал несчастное мое детское естество.

Наверное, виной всему нервы. Возможно, сказала плохая наследственность: нервные расстройства беспокоили маму и ее отца – моего дедушку. Однако у них это проявлялось не так остро, как у меня, – я оказался куда более впечатлительным, ранимым, тонкокожим. Идеальная мишень для несовершенного мира! Чувствительнейший индикатор всех его темных, ущербных сторон!

Стыдно сказать, с каким количеством разнообразных моих болезней —реальных и мнимых, психологических и физиологических – боролся мой отец, врач по образованию, профессии и призванию. Здорово, что так совпало, но мне вот не дает покоя вопрос: а что же бы я делал, если бы отец был не врачом, а математиком, юристом, учителем?.. Всю жизнь мотался бы по нашим уродливым больницам и поликлиникам, обследовался, консультировался бы с бездарностями и жуликами, наводнившими в последнее время цех эскулапов? С отцом мне безумно повезло. При этом я не спешил соглашаться с выводом, к которому он пришел, осно-

вываясь на своем огромном стаже, широте мысли и пристальных, многолетних наблюдениях моего характера. Теперь-то я почти не сомневаюсь, что отец абсолютно прав: что все мои болезни не корень зла и даже не болезни вовсе, а лишь симптомы; что в различных болячках находят выход мои нервные срывы. Но я всё равно не могу успокоиться и по-прежнему сражаюсь с ветряными мельницами – этими людоедами, готовыми пожрать и меня. Отец сделал свое дело, констатировав прямую взаимосвязь между моими страхами, невероятными зигзагами мысли, с одной стороны, и различными заболеваниями – с другой; выявил истинные причинно-следственные связи. Слово – за мной. Мне нужно сделать весомое дополнение, продолжить логическую цепочку... Да, чтобы не было болезней, нужно избежать срывов, но как этого добиться, ведь эти срывы – не что иное, как отражение болезней мира, в котором я вынужден существовать. Ни на что не реагировать, ни о чем не переживать, не творить и, получается, не жить вообще – всё это возможно для меня только в вакууме. Там – наилучшие условия для меня.

Разве могу излечить я этот конечный, смертельно больной, безнадежно больной мир?

День. Точнее, уже вечер

Когда я был совсем маленьким и мне не спалось, или просто становилось ночью страшно, или не по себе – далеко не только из-за проклятого стука, – я приходил спать к родителям – устраивался ровно посередине. Отец всегда охотно принимал меня в объятия, а мама недоброжелательно ворочалась и двигалась к краю кровати, чтобы освободить мне место, – как и я, она тоже нередко беспокойно спала.

Я рос – и навещался к родителям по ночам всё реже. Однако борьба с бессонницей не только не прекращалась, но становилась всё более ожесточенной. Один на один с моим внутренним врагом. Однажды я так завелся, что не мог заснуть всю ночь – буквально до самого утра не удавалось мне отключить мое мазохистское сознание. К восьми утра я пошел в школу – расстроенный, изможденный. Постепенно страх, что мне не удастся заснуть, оформился в главную мою фобию. Наверное, именно тогда у меня выработалась привычка уповать на спасительные таблетки, которые помогут мне заглушить недуг... Звучит ужасно, но на самом деле всё было не так уж катастрофично: год за годом я лишь выучивал названия всё новых и новых лекарственных препаратов, которые могли потребоваться мне в той или иной ситуации. Пухла моя личная аптечка, однако в большинстве случаев благотворное действие оказывал на меня эффект плацебо; ну и я просто чувствовал себя увереннее, когда таблетки находились под рукой. Так я узнал, что такое снотворное; без рецепта оно не продавалось, и время от времени я упрашивал отца, чтобы он мне его достал. Но даже в самые тяжкие ночи я, слава богу, никогда не принимал таблетку целиком – откусывал маленький кусочек, и в большинстве случаев мне его вполне хватало.

Окончив университет, я вступил в поистине взрослую жизнь, когда болезненность нужно было отринуть; работать приходилось всё больше, и тут уж стало вроде бы совсем не до нее – в том плане, что начальство мои проблемы, разумеется, не интересовало; различные фобии остались существенной составляющей моей жизни – потаенной, сугубо личной, но перестали быть оправданием, объяснением, темой для разговора. По крайней мере, я старался, чтобы так было... Даже бессонница как будто отступила – я так уставал, что у нее уже почти не было шансов; правда, внутренний враг отнюдь не исчез, а наоборот ожесточился и, жаждая мести, реванша, стал разрабатывать новые, всё более изощренные способы давления и хитрые методы борьбы со мной.

Он силен и коварен. Он зародился во мне много лет назад – не знаю в точности, когда, а главное, чего я не знаю, это как его победить. Он всякий раз находит во мне новое слабое место и нещадно бьет в эту больную точку. Этот невроз, психоз имеет множество проявлений. Как только ценой колоссальных усилий я справился с одним, он скоро обрел другое обличье.

Когда я одолел другое, он проявился в третьем, не забыв и оживить первое. Самое страшное, что я могу почти не догадываться, что он где-то рядом – думать как будто совсем о другом; в то время как он прочно засел у меня в голове, на уровне бессознательного. То, что он находится именно там, я вычислил теоретически или, может, математически – так астрономы открывают далекие небесные тела, еще не увиденные ни в один телескоп, опираясь на данные об отклонении орбит других, уже известных тел. И никакими клещами не вырвать из бессознательного мои многочисленные фобии, которые, объединяясь, скрещиваясь, наслаиваясь, образуют этого могучего внутреннего монстра, засевшего в моей голове и не дающего мне нормально жить, как живут остальные, обычные люди. И потому я постоянно на грани нервного срыва, какого-нибудь очередного странного припадка, на который негоже и жаловаться, о котором стыдно рассказать... Это цена, которую я вынужден платить за мою болезненную «гениальность», за мои дивные, фантастические сны, способные разорвать и поглотить эту, «внешнюю» Вселенную, возможно, существующую лишь мнимо. Я много страдаю, но много и наслаждаюсь, упиваюсь самим собой, так что порой мне кажется, что это – темная сторона моей сущности, моей личности, словно обратная сторона Луны.

Будет очень обидно, если окажется, что в момент возвращения в отчий дом, где, казалось бы, так спокойно, умиротворенно, где всё родное, призрак бессонницы снова замаячит на моем горизонте.

* * * * *

Что-то возвращается, что-то появляется, что-то исчезает... и чаще всего всё это меня не радует. Стоит задаться простым вопросом: меняемся ли мы и мир к лучшему? Сильно сомневаюсь.

В Логу, оказывается, развернули довольно масштабную стройку – вчера я этого даже не заметил: слишком уж был увлечен своими чувствами – переживаниями, связанными с возвращением на родину. Я долго отсутствовал, потом, по приезде, много рефлексировал, а меж тем кто-то запустил в Логу губительные для моего внутреннего мира процессы. Да-да, скоро там появятся новенькие многоэтажки, в чем-то, наверное, похожие на нашу старушку, но, конечно, чужие и отнюдь не желанные. По уши влюбленные в свою холодную, бездушную новизну, они будут издеваться надо мной, кичливо портить мне привычный, с детства любимый пейзаж.

Не верится, что уже следующим летом вместо лип, берез, осин и тополей здесь воцарятся стекло и бетон. Неужто ничто не воспрепятствует обезображиванию этих дивных ярусов, неспешно уходящих всё ниже и ниже, пропитанных древнею природной красотой? Истина святая и непреложная: именно Каменный Лог сформировал неповторимый облик города, подарил ему многочисленные «вертикальности», все эти изумительные площадки для обзора, перепады высот. Вверх—вниз, вверх—вниз – таковы были постоянные движения моего детства, из которых сложился рельеф моего сознания.

21 августа, среда

Сегодня в ночи – точнее, при жидком свете занимавшегося утра – я стоял на площадке первого яруса. Стоял обмякший, онемелый, заплаканный. Выплаканный. Стоял между двух девятиэтажек, вперив потухший, почти не видящий взор в краешек улицы. Я, верно, ждал чего-то. Я знал, что скоро это свершится, скоро оно придет – и вот началось...

Огромная волна накатывается стремительно – эгоистично приплюсовывая только саму себя, безжалостно вычитая пространство. Я стою один, а за мною исполинский силуэт родного дома – я героически заслоняю, защищаю его; он тоже стоит за меня горой – мы вместе, мы заодно. Но нам не выстоять и не уцелеть – через мгновение всё исчезнет под обезумевшей водой.

Я еще успеваю услышать дикий рокот. А вокруг нестерпимо тихо. Кроме меня, никого и ничего больше нет...

Я придумал понятие повторяющегося сна: это некий устойчивый, ключевой сюжет, который с определенными интервалами является мне на протяжении всей жизни – он не отпускает, он настойчиво пытается достучаться до меня. Я должен наконец понять что-то, но что?

ЭТАЖ ТРИНАДЦАТЫЙ

Обратного пути у меня нет, как нет выхода из безвыходности; вся дальнейшая моя творческая жизнь, а значит, по сути, и вся жизнь вообще поставлена теперь на карту – последним рывком, бурным натиском я должен завершить работу над моей повестью, иначе... Иначе я даже не могу вообразить, что будет со мной дальше. Опять на работу, опять в рутину? Опять бессмысленное, никчемное существование? Плестись, как все, по кругу в шеренге пожизненно осужденных заключенных? Снова притворяться таким же: одинаковые робы – одинаковая, безрадостная, участь? Нет-нет, я должен дописать, должен хотя бы отчасти высказать, что думаю или, может, только непрерывно чувствую – как нечто, с одной стороны, неясное, а с другой – отчетливое, осязаемое в своей неотвратимости...

Да, это не грандиозный роман, не увесистый философский трактат, а всего лишь скромная повесть. Сколько миллионов людей задумывало и осуществляло нечто подобное... Но мой, мой замысел – такой родной и сокровенный. И в каких муках находил он свое постепенное воплощение, как долго не мог я к нему подступиться! Отчаянно долбил в захлопнутую дверь, а потом внезапно обнаружил, – по крайней мере, мне кажется, что это действительно произошло, – как открывается этот таинственный ларчик.

Уже третий день. Вчера я написал, кажется, мало путного. Сегодня нужно браться за ум. Хватит пенять на отсутствие вдохновения: пусть не придет оно с переключением некоего тумблера, нужно работать, заставлять себя, перебарывать – глядишь, заветные мысли и облекутся в вещественную форму.

* * * * *

Любил я в детстве одну игру...

И играть в нее всё время страшно хотелось, и как-то по-детски страшен, захватывающий был для меня ее ход. Не думаю, что то же самое испытывал еще кто-то из мальчишек: любили-то ее многие, но относились к ней при этом всё-таки иначе, не с таким мистическим пиететом. А у меня всякий раз замирало сердце, и какую-то тоненькую долю секунды не знал я, «отомрет» ли оно назад, забьется ли в привычном ритме; вернусь ли я обратно к жизни или так и зависну над пропастью, в небытии. И страшно вновь пережить это ощущение – и хочется, несмотря на страх, снова его испытать...

Игра называлась демонами.

На площадке перед домом мы делились на две команды – убегающих, прячущихся демонов и догоняющих, разыскивающих этих демонов ловцов. От самого искреннего, сильнейшего ребячьего восторга захлебывались и те, и другие: демонов охватывал жгучий азарт убегания, ловцов – адское нетерпение погони. Демонам давалось время спрятаться на этажах. Ловцы громко считали до ста, удар ногой в дверь мусоропровода возвещал о начале Большой Игры. Вперед!

Задача перед ловцами стояла непростая: демоны часто перемещались только по двое, а нередко, бросаясь врассыпную, разделялись вовсе. Разделяться приходилось и ловцам, чтобы одновременно прочесывать, с одной стороны, лестничные клетки и балконы, а с другой – лифты. То, что у нас сразу два лифта, было еще одним предметом моей гордости, связанной с домом: я прекрасно знал, что далеко не каждая многоэтажка может похвастать не только маленьким, но и грузовым. Когда я был еще крохой, мне приходилось брать с собой в лифт кирпич – весил я так мало, что лифт отказывался меня везти. Да, этот таинственный, удивительный механизм, – несмотря на рано впитанный мною материализм, долгое время я подспудно считал лифт существом почти одушевленным, – нужно было еще умиловить, нужно было найти к нему подход! Разве не восхитителен священный трепет, что зародился в душе

ребенка, который почти каждый день пускался в захватывающее путешествие на четырнадцатый этаж без родителей и взрослых вообще, в сопровождении только безмолвного, хотя и верного друга – кирпича?..

Да, ловцам, как я сказал, было не так-то просто – демонам же было тяжело вдвойне. Неугомонные преследователи не давали им передышки, нужно было постоянно находиться в движении, маневрировать, скрываться, блефовать. Демон не мог быть уверен в каждой следующей секунде своего существования. Что ждет впереди? Коварный ловец, который тут же сцапает, выведет из Игры, обратит в поганую веру охранителей и вынудит выслеживать бывших – еще уцелевших – товарищей? Или, может быть, подстережет и наградит подзатыльником чужой? (Чужими назывались все, кто не участвует в Игре, в первую очередь взрослые – часто, на нашу голову, вредные и сварливые.) Или случится какая-нибудь накладка, нечто совсем не предвиденное – например, сломается лифт?

Удирать на лифте считалось высшим пилотажем. Там выше всего вероятность встретиться с не одобряющим твоё поведение чужим, который норовит выставить тебя, хулигана, вон или просто путает все карты. Велика опасность угодить в безжалостные лапы ловца, ибо лифт одинаково покорен и той, и другой стороне. Ты едешь на пятый? Или на девятый? Или на седьмой? Кого встретишь ты там, затаив дыхание, когда откроются двери? Риск – огромен, адреналин – зашкаливает. И всё же самым храбрым, отчаянным демонам лифт давал пару козырей: нажать кнопку «стоп» и сделать так, чтобы лифт остановился где-то между этажей. «Стоять на стопе» (так у нас говорили) могли позволить себе только самые смелые. А еще, если хватало силы и ловкости, можно было искусно повиснуть на поручнях: ничего не подозревающий лифт – его нижняя стенка не фиксирует никакого веса, – преспокойно уезжает отдыхать в тупик – на нулевой этаж. Планы ловцов рушатся. Ловцы в смятении, нервничают, злятся, мельтешат, а потом один из них, переводя дух, говорит про соперников: «Ну молодцы!»

Ловцам приходится разыгрывать новую комбинацию. Облава ожесточается.

Мне всегда казалось, что поимка – дело скорее техническое; в значительной степени это процесс механистический, требующий в основном аккуратности, скрупулезности, основательности. Конечно, неожиданный ход всегда и везде в цене; конечно, ловцам давалась возможность блеснуть знанием психологии убегающего. И всё же неслучайно быть демоном считалось куда почетнее, ибо в первую очередь перед ним открывался простор для отваги и увлекательных многоходовых комбинаций. Для меня всё сводилось к главному – к творчеству.

Демоны обречены, ибо Игра не предполагает такого исхода, как их победа. Как бы ни развивались события, Игра может закончиться только одним образом – поимкой последнего из них.

Или – Игра не заканчивается никогда. Поверить в это чудесное развитие событий крайне трудно. В самом деле, каковы шансы демона – даже самого удачливого, отчаянного, быстрого? Рано или поздно он всё равно выбьется из сил, его окружат, заманят в ловушку, обманут... Невозможно!

Не верится в это и мне.

Но иногда я всё же думаю, что есть, право слово, один демон, который до сих пор – уже столько лет! – убегает от сонма жестоких, неведомых, призрачных ловцов по бесконечным, заковыристым лабиринтам этажей, преодолевая боль, страдания, тьму и само беспощадное время в заранее обреченной на провал попытке спастись.

Этот демон – я.

* * * * *

Мне что-то подсказывает, что нынче творческая рыбалка принесет мне хороший улов. Пару дней я осваивался и праздные мысли отрывали мой взгляд от поплавка – а ведь его, наверное, не раз уводила под воду крупная рыба и, уж по крайней мере, теребила живность

помельче! Сегодня, верю, будет иначе. Я чувствую, как закипает мой творческий котел – самое время отправить туда рыбешку на уху!

* * * * *

Вся наша ванная – зеркала. Бело-голубой цвет воды и стен, ванны и умывальника, пола, коврика и потолка. И такое же, бледно-волнистое, мое отражение – отражение маленького мальчика в белой маечке, достающего щетку и пасту из специального стаканчика. Один – для меня, другой (такой же) – для мамы и папы.

Так стоял я, паинька, задумавшись, и чистил зубы, пока не зашла мама и не обнаружила, что текущая из-под крана вода – холодная.

– Ты что? Зачем ты это делаешь?

– А как ведь в песне поется: «Если хочешь, если хочешь быть здоров... водой холодной умывайся!» – находчиво и деловито объяснил я.

– Ну так и умывайся холодной водой, а не зубы чисть!

Я был очень удивлен и не нашелся, что ответить. Просто в моем понимании чистка зубов была одной из составляющих сложного процесса, который назывался умыванием. По крайней мере, всегда, когда мама говорила мне: «Иди умывайся!», я твердо знал, что мне необходимо не только умыть лицо, но и почистить зубы. Ясно же, что это часть понятия «умываться»...

Я долго размышлял об этом, внутренне пытаюсь оправдать себя, уверить себя в том, что делал я всё правильно. Но я всё равно чувствовал себя нелепо. Мне стало досадно, что я такой глупый.

Впрочем, в те-то времена – не то что теперь! – глупость моя была еще простительной, ведь я был маленький.

Забавно, что в раннем детстве я отправлялся спать уже в девять вечера – ложился сразу после просмотра программы «Спокойной ночи». Впрочем, нашей длинной северной зимой в это время действительно самая натуральная, глубокая ночь.

Как приятно было погружаться в беззаботный детский сон, когда по итогам даже размеренно проведенного дня, в течение которого я никуда не ходил, не занимался ничем ни физически, ни умственно, ни психологически изнуряющим, не сформированный, слабенький организм всё равно естественным образом уставал. Как отрадно было не страшиться плавно наступающего завтра...

Бывали исключения. Тягостно-неспокойной оказалась одна моя ночь, когда – вместо «Спокойной ночи» – посмотрел я мультфильм про злющую ведьму. Готовясь к работе, мама прихорашивалась в ванной и периодически сновала туда-сюда по темному коридору, а я, сидя в зале, периферийным зрением наблюдал ее мелькающий силуэт. Перед сном я признался ей, что я боюсь ведьм, а мама моментально ответила, что точь-в-точь в такую отвратительную ведьму она и превратится, если я буду ее нервировать и плохо себя вести. И от этих слов, помню, мне стало еще горше: я хныкал, переживал, не мог заснуть.

* * * * *

Наш дом, возвышавшийся над миром, был святыней – источником всяческих забав.

Как-то раз мы с родителями собирались на дачу. Пока отец носил вещи и готовил машину, я мирно стоял на площадке, с энтузиазмом поглощая мороженое – пломбир, которым меня наградили. Родители могли бы приобщить меня к сборам, попросить помочь им, но нет – меня слишком берегли. Да и в чем я мог бы реально пригодиться? Скорее, мешался бы...

Припекаемый солнцем, я был божьим одуванчиком в нелепой кепочке, а мороженое так ласково таяло и искрилось – одно удовольствие слизывать его языком! Через секунду – нечто невероятное, оглушающее, молниеносное, как будто меня смахнули в параллельное измере-

ние. Я не мог понять, что произошло, – так опрокидывают ушат холодной воды. Собственно, именно это и случилось: хулиганы вылили на меня ведро воды. С какого этажа? Никто не видел, да и вряд ли стали бы разбираться. Я не плакал (хотя мороженое пришлось выбросить) – ошарашенный, я просто не мог взять в толк, за что меня так. Я от рождения был тих, задумчив и незлобив, и я смолчал, перебирая смазанные ощущения, потягивая привкус утраченного мороженого счастья. Таким было ускользнувшее удовольствие – им не дали насладиться мне сполна.

Домофоны, отгороженность, всё нарастающая подозрительность жильцов друг к другу, неприязнь даже к ближайшим соседям – всё это появится позже. Тогда, в моем детстве логовые ветра свободно вторгались в подъезды и всё было нараспашку: мальчишки, жившие в нашей башне, как и чужаки, навевывавшиеся порезвиться на этажах, постигали на ее высоте горизонтальность и вертикальность мира – физические законы, действовавшие в этих плоскостях. Страшно ли тебе заглянуть вниз? Хватит ли у тебя духу хотя бы чуть-чуть приподняться на парапете – провести ладонью по глади собственного небытия? И что бы ты дал за то, чтобы пробраться на крышу? Заветная дверь, ведущая туда с четырнадцатого, – вернее, не ведущая, а много-много лет угрюмо преграждающая туда дорогу, – всегда закрыта, всегда на замке, но всё же...

Подвижные, нахальные, задиристые мальчишки цинично использовали этажи, чтобы проверять мир – и себя в нем – на прочность. Говорят, всё стерпит бумага, но то же самое можно сказать и про закон тяготения, не правда ли? Он охотно демонстрировал мальчишкам свою силу (или бессилие?), властно (и в то же время покорно) принимая всё, что они хотели сбросить вниз.

До сих пор перед глазами эти юные лица, прекрасно помню эти имена...

Маленький Русик (пятый этаж) выглядывал со своего балкона, а хулиганистый, хитрый Мороз, живший на первом, дразнил его, стоя на площадке: угости, мол, меня помидором! (Мороз откуда-то выведал, что у Русика дома появились помидоры, и притом весьма недурные.) Доверчивый Русик бросил ему помидор – для него это была игра, да почему бы и не исполнить просьбу старшего мальчика? Неугомонный, насмешливый Мороз потребовал еще. А потом – еще и еще. Добрый, но легко уязвимый Русик быстро осерчал – устроил Морозу и его дружкам настоящий помидорный обстрел; те, галдя, успешно уворачивались от несильных и неточных бросков, производимых слабой, совсем еще не тренированной, неопытной рукой.

Вечером вернулись с работы родители Русика. Окровавленная площадка сразу поселила в их душе смутную тревогу. Худшие опасения подтвердились: после осмотра балкона стало ясно, что помидоры исчезли, и Русику здорово досталось. Тяжела была отцовская рука!

В наших кругах история эта получила широкое распространение: заливаясь хохотом, Мороз и его приспешники любили похвастать своей проказой; иные, впрочем, оставались равнодушными. Помидоры? Ха! Кого этим удивишь! Бывали случаи и повеселее: кто-то с балкона мочился, кто-то, экспериментируя, отправлял в страшный путь всякую живность: черепаху – выдержит ли панцирь? кошку – приземлится ли на лапы? она же, говорят, всегда приземляется... В бросании пластмассовых бутылок, наполненных водой, многожды участвовал и я: все ведь поднимались ко мне на четырнадцатый этаж.

Выше, кажется, ничего и нет – только крыша да небо. Мальчишки много дурачились, а я становился сосредоточенным. Для них это было увлекательное, шумное путешествие в одну из чужих точек в вертикальной плоскости – и только. Для меня же это была еще и дорога домой.

Казалось бы, я столько раз проделывал этот путь, что должен был изучить его досконально. Но нет, мне, например, до сих пор неизвестно, сколько секунд нужно потратить, чтобы подняться с первого этажа на четырнадцатый. Более того, в детстве у меня возникало ощущение, что время от времени лифт едет чуть дольше обычного – пусть на какую-то сотую, я всё

равно это чувствовал. Затаив дыхание, я размышлял, где я окажусь, когда его своевольные двери наконец откроются? выпустит ли он меня вообще или я вечно буду мчаться по направлению к загадочной космической бездне? (У космоса всюду бездна – вверху, внизу...)

Я слышал, что кое-кто у нас производил замеры – просто ради интереса, в сущности весьма пустого и тщеславного. У меня самого не было в то время не то что секундомера – даже обычных часов. Но дело было даже не в отсутствии технических приспособлений; просто для меня существовало своеобразное табу: я не дерзал измерить неизмеримое, непостижимое, необъятное...

Дверь, ведущая на общий балкон четырнадцатого этажа, вся была испещрена надписями – кто-то пользовался ручкой, кто-то (реже) фломастером, кто-то оставлял послания ножом или (чаще) ключом от собственной квартиры. Несомненно, дверь играла роль социальных сетей – во времена, когда об интернете никто и не слыхивал. Там признавались в любви – почти без надежды, что объект обожания прочтет и оценит. Там делились философскими размышлениями и поэтическими озарениями. Там сквернословили (и это было чистое искусство!) – без страха наказания или хотя бы порицания. Там сводили счеты (искусство уже нечистое) – с тайным желанием, чтобы оппонент ответил и включился в диалог. «Мироновы – лохи и лохушки», – написал Мороз, а Мирон, его закадычный приятель, не преминул ответить, старательно – и в то же время коряво – исправив: «Морозовы – лохи и лохушки».

Наконец, там просто шутили: «Температура за бортом – -35 градусов». Именно эта фраза была моей любимой.

Увы, недавно на этажах сделали косметический ремонт: перекрасили, отштукатурили. Замазали и нашу легендарную дверь: священные письма моего детства безвозвратно исчезли. Сохранились они только в моей памяти, как и восхитительный полет туго наполненной водой баклажки. Через считанные секунды она превращается в мокрое пятно на асфальте. Такова, наверное, и вся наша жизнь – во всей красоте и уродстве: сначала стремительный полет, а потом – вдребезги...

* * * * *

Вечером

Должен отметить нечто важное: сегодня со мной что-то произошло. От волнения, трепета я немного дрожу – но стараюсь держать себя в руках.

Редкий случай: мое внутреннее событие – радостное. Что же могло меня так воодушевить, что, с одной стороны, меня потрясывает, а с другой – я весь притаился? (Как будто берегу – от посторонних глаз – за пазухой стакан с волшебной водой – немислимо пролить, потерять даже каплю!)

Конечно, творчество (предчувствие меня не обмануло). Едва я серьезно занялся тем, ради чего я и затеял этот, казалось бы, странный, на сторонний взгляд скучный и даже откровенно глупый двухнедельный отпуск в четырех стенах в городе (да еще и летом!), как случился прорыв – долгожданный и неожиданный одновременно.

Страшно вспомнить, сколько раз подбирался я к этому тексту – со всех сторон, казалось, перепробовав всевозможные способы, и мытьем, и катаньем. Ничего путного не выходило, хотя замысел возник у меня уже много лет назад. Я долго бился над ним, а потом плюнул – переключился на множество других сочинений, удачных и неудачных в той или иной степени; а впрочем, как обычно, подавляющее большинство из них я не завершил и до ума не довел. И вот самый главный, желанный замысел сам пожаловал ко мне из каких-то заоблачных сфер. Видимо, правы те, кто выделяет в творческом процессе несколько специфических стадий; и я не перестаю удивляться невероятным свойствам моего мозга! Сколько яростных – рациональных – атак я предпринял; до сегодняшнего дня я считал их безуспешными, а оказалось, что всё это было не зря. Не зря: идеи упали в широченное, плодородное, неисследованное 90-про-

центное поле бессознательного, долго вызревали там – и внезапно вернулись в рациональную часть мозга в виде озарения. Да, озарение!

Любопытно, что с реализацией собственных творческих замыслов я доселе никогда не спешил. Отчего это? Разве только от лени? Мне кажется, я часто довольствуюсь тем, что зародилось в моей голове, в теории, в прекрасных мысленных эмпиреях – а уж воплощать это на практике, на пошлой земле... Пфф! Не царское это, право, дело. В конце концов, это и вправду может подождать.

А всё вот почему. Сегодня утром, достав старый толковый словарь, я наконец проделал одну волнительную операцию, задуманную давным-давно, еще в детстве. Сбылись худшие опасения: я убедился в зыбкости нашего мышления или, по крайней мере, в значительном несовершенстве его словесного выражения. А скорее всего – и в том, и в другом. Я ведь так и знал, что либо увязну в бесконечных словообразованиях, слабо отражающих сущее и не слишком приближающих к его разгадке, либо буду уведен по кругу.

Первым я нашел слово, которое в последнее время звучит в моей голове едва ли не чаще всего: космос – мир, вселенная. Я полез узнавать, что же такое мир. Мироздание, – ответил мне словарь. А под мирозданием, как оказалось, подразумевается вселенная, а под вселенной... мироздание, как нетрудно было догадаться.

Конечно, одной этой попыткой я не ограничился. Я постарался уяснить для себя, что же такое человек – я, человек вообще, любое мыслящее существо, которое пытается определить свое место в мире, вселенной, космосе – или как это лучше назвать? «Человек – живое существо...», прочитал я. Стал искать слово «существо». Первое значение: «Преимущественно со словом живой – то, что существует». А существовать – то же, что жить. А жить – находиться в процессе жизни, существовать, терпеливо объяснял мне словарь.

Существование – жизнь, бытие. Бытие – существование, реальность. Реальность – объективно существующее явление. Вот он – предательский лабиринт! Словарь вовлек меня в насмешливую, неспешную, тяготную, словно карточный пьяница, игру... Игру мысли? Воистину – мысли, ибо, думаю, только мысль способна на это безумие.

Точно! Самое главное: что же такое мысль?! Ответ: мышление. А мышление – способность рассуждать, мыслить; свойство человека. Словом: для самых упрямых, недоверчивых, въедливых.

Я жил в предвкушении Тайны, которая откроется мне. Я думал, что погружусь в глубины бытия, а вместо этого увидел, что все наши представления о жизни являются рыхлыми, сыпучими, не опирающимися ни на что, кроме самих себя, и всё – песок... Какой вывод должен я сделать? Получается, единственное, на что мы можем уповать, что абсолютно правдиво и не нуждается для своего существования ни в каких условиях, это смерть. Но ведь это жизнь – что-то, а смерть, как считается, как раз ничто... Или всё наоборот? Я запутался.

Я жадно схватился за страницы, чтобы узнать, как определяется смерть, но... смерти я и не нашел. Выяснилось, что советский словарь не знает, что такое смерть. По крайней мере, не рекомендует своим читателям интересоваться этой темой, предпочитая отмалчиваться.

Наконец, последним, что меня заинтересовало, было слово «Бог». Им, по религиозным верованиям, оказалось верховное существо, будто бы стоящее над миром или управляющее им. И дальше – классика жанра: мол, идеей бога пользуются господствующие классы, для которых она служит орудием угнетения трудящихся масс... Это тоже было ожидаемо. И это было уже даже не смешно. Я захлопнул словарь – мне вдруг стало тоскливо и так неудобно, что я даже поехался. Знобкая рябь пробежала у меня по спине.

Слова, слова и еще раз слова – неужто они так бессильны?!

* * * * *

Не состоявшись как художник, я переключился на палеонтологию. Испытывая теплые чувства к животным существующим, я заинтересовался и животными вымершими. Не знаю, в какой момент родители уловили эту мою новую страсть: сколько я себя помню, я всегда был окружен энциклопедиями о динозаврах. Некоторые из них были действительно весьма талантливыми (например, моя самая первая – «Что было до нашей эры»), некоторые, как я сейчас понимаю, шаблонными, повторяющимися – на разные лады – одну и ту же скучную, поверхностную информацию; но в детстве я был не столь разборчив. Доходило до того, что на каждый праздник – будь то день рождения или Новый год – мне дарили, по сути, только одно – энциклопедии о динозаврах. Подарок этот считался вариантом беспроблемным, самым простым и очевидным – он неизменно имел успех, и проблема выбора перед взрослыми не стояла. А всё, наверное, потому, что я сдуру заявил, что я даже не знаю, что еще можно желать, кроме книги... С одной стороны, звучит так наивно; с другой – книга и вправду никогда не бывает лишней; она гораздо лучше всевозможных безделушек, которые нам так часто дарят и которые, чего греха таить, дарим порой и мы.

Крошечное неудовольствие выразил я, помню, только однажды: когда одна из тетушек вручила мне издевательски тощую книжечку (и рисунки там были отвратными) со смехотворным названием: «ВСЁ о динозаврах».

– Так что больше тебе такие книги дарить не будем, – нахально сказала она и рассмеялась.

Хотя я и был довольно мал, я не сомневался, что уместить всё о моих удивительных, любимых динозаврах в жалкой «брошюре» решительно невозможно. На тетушку я обиделся и несколько ей не поверил – я жаждал большего.

Итак, я выбрал себе будущую профессию – палеонтолога, о чем с гордостью сообщил родителям.

– Чтобы быть палеонтологом, надо постоянно отправляться в походы, терпеть лишения, жить в палатке... – скептически заметила мама, совершенно меня огорошив. – Выдержишь ли ты всё это?

Зря она так сказала: вопрос можно было поставить иначе – облечь его в форму более мягкую, приемлемую для меня тогдашнего, да и, пожалуй, во многом меня нынешнего. Лучше бы мама деликатно объяснила мне, какие качества необходимы для настоящего ученого, работающего в сложных полевых условиях. Этот подход был бы куда конструктивнее. Но мягкость и деликатность не ее конек; она привыкла высказываться резко – и в данном случае, мне кажется, это было не совсем уместно. Да, конечно, порой полезно взглянуть на дело и себя в нем трезво; но часто требуется нечто другое, обтекаемое, а подобного рода прямота идет во вред. Мне она повредила уж точно: робкий, ранимый, я расстроился и испугался. Уж мама-то не могла не знать особенностей моего характера!

После этого во мне зародились сомнения, – кажется, это слово употребляю я постоянно, – неуверенность в себе, и я был еще слишком слаб, чтобы этому противостоять. Крепко задумавшись, я понял, что я действительно слишком зависим от комфорта – я с детства был сугубо городским жителем, теоретиком, а не практиком, как любил повторять отец. Систематизировать, каталогизировать, оперировать мыслью – но отнюдь не работать руками...

Впрочем, если мама на меня и повлияла, то, уверен, только косвенно. Самое удивительное, что позже – но всё еще будучи ребенком, – я сам пришел к выводу, что самому «добывать материал» мне вовсе не обязательно, да просто не нужно: ископаемые останки пусть находят другие – я же буду их описывать, выдвигать гипотезы, строить теории, то есть делать открытия скорее не в подлунном мире, а в сфере небесной...

Прошли годы, детское увлечение давно улетучилось. Что от него осталось, так это энциклопедии, которые занимают несколько полок в книжном шкафу в моей комнате, и когда я сей-

час смотрю на них, в душе моей потихоньку рождаются теплые, радужные чувства, сопоставимые с тем самым сокровенным, что испытал я в детстве.

Дача была у нас недолго – пришлось продать. Помню, когда мы туда наведывались, я иногда любил повозиться на грядках. Охотно, по собственной инициативе подметал листья: неспешно сгребал их в одну кучу, а потом надевал перчатки и сваливал в контейнер для органических отходов. С любовью, тщательно, аккуратно собирал ягоду (смородину, клубнику, малину, вишню). С меньшим желанием – но мама настаивала – обрывал облепиху. Мне нравилась эта тихая, спокойная, монотонная работа: мышцы работали в заданном темпе, я же мог сконцентрироваться на другом излюбленном движении – движении мысли.

Однажды отец объявил войну кленам – двум большим деревьям, которые росли у нас на участке и которые вздумали беспрерывно размножаться. Повсюду были разбросаны их споры, кое-где выросли еще хрупкие и в то же время уверенно стоящие на земле деревца, а уж бойкому, кустившемуся молодняку не было числа. У отца появились глобальные планы по обустройству участка, и бесконтрольное распространение кленов в них категорически не вписывалось. Отец показал мне, как выглядит кленовый лист – научил, что его невозможно спутать ни с какой другой растительностью, – и дал мне в руки секатор. Сам же вооружился топориком.

Так я принял активное участие в геноциде кленов в пределах наших восьми соток. Душа моя нестерпимо ныла: я чувствовал себя извергом и убийцей. С другой стороны, этот горький опыт принес мне определенную пользу – тоже, впрочем, сомнительную: сопоставив с конкретной реальностью доселе отвлеченную информацию о естественном отборе, почерпнутую из энциклопедий, я снова остро ощутил жестокость и несовершенство мира. Даже если бы мы не объявили им, в сущности, бессмысленную войну, подавляющее большинство молодых клеников ни за что достигло бы таких внушительных размеров, как их родители. На ограниченной территории они сгубили бы друг друга в беспощадной борьбе за пространство, за почвенные соки, за солнце... Этот случай – один из многих; но именно в такие моменты врожденное гармоничное мировосприятие давало трещину, в которую стремительно проникали два страшных, изворотливых подземных гада – разочарование в мире и ужас перед ним.

Сейчас я лишь констатирую, что с годами трагический разлад рос во мне неуклонно и что я уже никогда не смогу его преодолеть.

Конечно, с тяжелым, подвижническим трудом палеонтологов моя дачная возня имела совсем мало общего. Мне представлялись суровые, героические люди, которые, преодолевая изнурительный песочный ветер, испытывая колоссальное напряжение, раскапывают где-то в пустыне или полупустыне драгоценные следы далекого прошлого – то, что по невероятному стечению обстоятельств не обратилось в прах за миллионы лет. Нервозными ночами они почти не спят, коротая время в палатках, где подкрепляются сваренной в котелке похлебкой, а днем – от зари до заката – усиленно работают лопатой. Потом берутся за специальные кисточки и, когда сердце клокочет от умиления и торжества, дрожащими от усталости руками с огромной осторожностью извлекают новый, прекрасно сохранившийся скелет диплодока, или тираннозавра-рекса, или даже паразауролафа – моего любимого «ужасного ящера».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.